

Иванов Всеволод Вячеславович

**Чудесные похождения
портного Фокина**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
И17

Иванов В.В.
И17 Чудесные похождения портного Фокина / Иванов Всеволод Вячеславович – М.: Книга по Требованию, 2012. – 56 с.

ISBN 978-5-458-04022-8

«Чудесные похождения...» – раскованное, свободное фантазирование, в котором парадоксально переплелись сатира, фантастика, гротеск и совершенно точные реалии литературной жизни тогдашней России. Резко сатирически изображает автор ксендзов и жандармов в буржуазной Польше, фашиствующих молодчиков в Германии, русских белоэмигрантов в Париже. Кроме того, повесть пронизана прямой литературной полемикой.

ISBN 978-5-458-04022-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Всеволод Вячеславович
Иванов
Чудесные похождения
портного Фокина

1. Город Павлодар и его окрестности, кроме мельниц

О городе Павлодаре я упоминал, наверное, тысячу раз. Мне не стыдно еще раз напомнить.

Там главное – пески, и не поймешь: на небе, на земле ли облака, и среди облаков (а они часто ходят на деревянные домишки), среди облаков, государи мои, – тюрьма! Всю Расею-матушку, каторжную и бунтующую, прогнали через эту тюрьму на сибирские кровососные каторги.

Впрочем, портной Фокин о тюрьме не думал, да и какой веселый человек думает о тюрьме? Веселый человек не думает также о каменных домах, если даже и во всем его родном городе был один каменный дом, к тому же необычно названный тюрьмой, «банкой».

Портной Фокин сидел все время смирно. Был он сутул, как павлодарские заборы, криворук и на один глаз косил, да и все в нем было на один бок, так что удивлялись наши павлодарские комиссары. «И откуда у него такая достоверность в игле?!»

И вот накануне вербного воскресенья сидит Фокин, Иван Петрович, у себя на верстаке, хозяйка квартирная вербы ему принесла, рыбой праздничной пахнет, а на верстаке и на стульях френчи накроены, невероятное количество френчей. Со всего уезда, а может, со всего Семипалатинского округа заказывали Фокину френчи.

Смотрит Фокин на френчи эти и говорит хозяйке:

– А как вы полагаете, Гликерия Егоровна, долго мне придется шить френчи?

– А френчи вам, Иван Петрович, я полагаю, шить долго придется, так как война не окончилась.

– Как так, Гликерия Егоровна, война не окончилась? Чай, завтра вербное воскресенье двадцать третьего года, а последними-то кто с нами воевал? Поляки, – это в котором году было? Вон попу, сказывают, какой-то племянник из столицы коробку папиросную прислал, и можно различить на ней гражданские моды...

– Так ведь это картинки, Иван Петрович, а вам-то все заказывают френчи. Кабы война закончилась, зачем бы им заказывать френчи?

Оглянулся Фокин, и точно: вся комната френчами заросла, даже будто дышать трудно.

– А если, – говорит Фокин, – если я, Гликерия Егоровна, френчи шить откажусь?

– Через почему вы это откажетесь, Иван Петрович?

– А через потому, что не хочу я воевать больше, Гликерия Егоровна, через потому, что хочу шить гражданские фасоны.

– Как же, Иван Петрович, воевать вам, когда вы навсегда освобождены по физическим билетам. Шейте с богом, и пускай другие в ваших работах воюют.

– Откажусь я от себя, Гликерия Егоровна, я упорный ведь.

– Насчет упорства не спорю, Иван Петрович, так как за квартиру вы платите аккуратно, а вот как бы вам заказы свои не потерять!

– И потеряю, мне ничего не жалко!

Вскочил Фокин, волос его пестрый, руки его на три пальца одна короче другой, собрал в охапку все френчи, но тут выкатилась со страху из комнаты Гликерия Егоровна, а через пять минут или того меньше знала вся Проломная улица, что пожег непонятный Фокин все френчи даже из лучших материалов.

К вечеру стали собираться со всего города заказчики. На лавочке за воротами сидела Гликерия Егоровна в новом пестротканом платке и каждому в отдельности рассказывала, как портной Иван Петрович вдруг не захотел войны. И жалко, что ли, было заказчикам своего материала, и, боясь увидеть пепел его, не входили они в дом, или достовернейше хотели знать событие, только толпа все увеличивалась, и скоро, по щиколку увязая в песке, вся Проломная улица наполнилась заказчиками.

Даже те, которые пять лет назад променяли шитые Фокиным одежды, которые слабо помнили – у Фокина они заказывали или у кого другого, и такие, что, возможно, в другом городе встречали похожего портного. И когда лавиной опрокинули Гликерию Егоровну заказчики (песчаная эта лавина чрезвычайно пахла сапогами, крепко промазанными стерляжьим жиром), опрокинули калитку и перед входом стали было голосовать, кто больше всех пострадал и кому входить первому, весело распахнулась обитая войлоком дверь, и Фокин вышел с охапкой френчей.

– Граждане, – сказал он, наступая ногой на охапку френчей. – Граждане Проломной улицы, поднимите Гликерию Егоровну, она ни при чем, я во всем виноват, в чем и каюсь. Тут через тюрьму все граждане прошли, может, и Ленин прошел, которые создали рософесоре и мир народам. Вы же, граждане, продолжаете шить френчи, не переходите на мирное положение, втайне надеясь на войну! А я войны не хочу и вам, мирным людям, френчи шить не буду, я портной статский и жду от вас статских заказов... Возьмите свои материалы, которые даже скроены и начали пошиваться, мне ни ниток, ни работы своей не жалко!..

Первую неделю Фокин придумывал новые статские фасоны, во вторую зарисовывал, а на третью стал ждать заказчиков.

Лужи повысохли, показалась, как первый шов, робкая трава, поднялась выше, распустилась листочками. Гликерия Егоровна просила за квартиру, а заказчиков не было. Пришел вдруг кладбищенский поп и заказал подрясник, а через час вернулся и отобрал материал.

Фокин не спал ночь и только под утро увидел легкодремный сон, который всего страшнее: будто съет он подрясники на кресты всего кладбища.

Утром спросил хозяйку:

– Не купите ли, Гликерия Егоровна, швейную мою машину фасона Зингер?

– А для чего ж вам продавать ее, Иван Петрович, я с квартирой могу подождать, а вы, может, передумаете.

– Отцы и деды мои видали многое, Гликерия Егоровна, даже одно время жили против теперешней тюрьмы, я человек упорный, я намереваюсь покинуть пределы моей жизни возможно дальше.

– Господь с вами, Иван Петрович, стоит ли обращать примету на кладбищенского попа, когда он пьяница и охальник!

– Не с попа я, а с желания мирного существования, – купите, так как уезжаю я за границу, в неизвестные дебри...

– Да что вы, китайцев не видали, Иван Петрович?

Промолчал Фокин, поглядела на его азартно вспотевший курносый кусочек тела и начала торговаться Гликерия Егоровна.

Устроил духом одним древнюю странничью котомку Фокин, положил туда иглы, кусок яичного мыла, вздохнул, – потому что ни с одним заказчиком проститься охоты не было, съел на дорогу яйцо и пестрые волосы свои крепко забрал под фуражку.

2. Фокин в дороге и его встреча с паном Матусевичем

А в вагоне, хотя и шел он медленно (был всегда страх Фокина перед коровами и медленностью), испугался вдруг чего-то Фокин. Разговоры идут о человеке, который скупал у всех удостоверения, соскабливал чужие фамилии резинкой и вписывал свою. Большая карьера и большой почет у этого человека были. Всю дорогу почти об этом говорили, и непонятно: от зависти ли пред карьерой или большим количеством мандатов, дающих такое спокойствие человеку.

Мутно стало Фокину – удостоверений нет, паспортишко какой-то заваливший, – спросил о костюмах. Похвалили всю московскую жизнь, а о костюмах ничего сказать не могут, точно ходят там голыми. Только встретил он портняжку на заглохой какой-то станции, в Сибирь тот ехал. Шьют, говорит тот, точно, шьют в Москве статское, однако мало и преимущественно кальсоны, даже поговорка есть – материи в окнах горы, а ходят голы.

В Сибирь еду постольку, поскольку слышал – там на статское много заказчиков, Сибирь – страна хлебная, и мужик там любит, чтоб под мышками не жало!

– Сдурел мужик, – ответил ему со злостью Фокин, – либо френч заказывает, либо на дому самостоятельно шьет, а самостоятельно – черт его знает что шьет, неизвестно, – может, противогазы...

– Я, – говорит портняжка с радостью, – я могу и френчи, и даже противогазы шить, так как френчи в Москве шьют сами военноученые портные в солдатах.

Огорчился Фокин, а тут за огорчением не заметил – московский вокзал, и суетня такая, точно вся Россия переселяется. Влезть в такую сумятицу страшно, сам себя потеряешь, притулился в своем вагоне Фокин. А если на границе такой же город, да у поляков встречный городище, с гонору построенный, втрое крупнее, – как тут перейдешь? И в огорчении замолчал Фокин и так молчал до Изяславля, что за городов Минском, на самой польской границе.

А к хробрости Фокина станция Изяславль самая обыденная, даже по российскому обычаю станционный колокол голуби обсидели, и только меж зелено-околышных пограничников мельтешат мельчайшие людишки.

То есть сначала не поймешь – человек ли, тень ли, или просто телесное воспоминание. Очень неудобно от разговора с таким, –

ходил-ходил Фокин, поправлял-поправлял сумку, а если странник сумку поправляет, значит, неладно, потому что сумка прилаживается навечно, – эх, думает, не обойтись мне без такого человечка. Только подумал, а он тут как тут: усы в кольцо, руки в кольцо, и только неестественнейшей прямоты и длины нос.

– Разрешите, – говорит скороговорным говором, – разрешите рекомендоваться – пан Казимир Матусевич.

– Здравствуйте, пан Матусевич, – только успел ответить Фокин и чувствует: вот он уже за станцией, у какого-то прокисшего заборчика, пан на него перегарами туманными дышит, и шепот у него мельче дыханья:

– Без паспорта изволите через загражденья, мы можем рекомендовать первоклассного для пана переводчика!.. Из Сибири изволите, с Дальнего, золото в песке везут, а что ценнее – нефрит-камень, в европейских организациях большой спрос на этот камень потому что в моде сейчас китайская физиономия Европы.

– А как же платье? И понимает – не то надо у пана спросить, а что – не может вспомнить, потому что шипит тот, как блин, и к тому же такой же круглый и ласковый.

– В платье нефрит не прячут, больше в котомочку, вроде вашей, скажем...

– На китайский фасон теперь платье шьют разве?

Засмеялся пан Матусевич контрабандным смешком, заподмигивал, завинтились кольцами ноги его, и вот уже вечер, вот уже ветлы выпрямились и зазвенели по-птичь, и портной Фокин в такой ночи, что слов своих не поймет, не то что ноги увидеть. Идут они болотом каким-то, трава от страха словно на голове растет, и шепчет будто иглой Фокин:

– Эх, вернуться разве, пан?

Да, вернуться бы тебе лучше, Фокин, и много бы ты горечей и не увидал и не познал! Сидел бы ты у себя на родине в Павлодаре и шил бы френчи комиссарам и всем честным советским гражданам, а то вот из-за тебя работай, – мне надо ехать на Кавказ, Воронскому надо лечиться, а он должен редактировать твой путь, и Лазарь Шмидт и Зозуля в «Прожекторе» должны следить за тобой, да что Лазарь Шмидт, когда сотни тысяч читателей «Прожектора» и сотни тысяч «Правды» заинтересуются твоим путешествием, и когда Госиздат захочет издать тебя в сотне тысяч экземпляров и заплатит мне не по пятьдесят рублей с листа, а больше – что мне делать тогда с тобой, Фокин? Многого ведь ты не понимаешь, и за многое мне стыдно, – прости меня, просвещенный читатель «Правды», – один

из нас только портной, а другой только попутчик.

И пока с вами рассуждаем, читатель, и пока смеется Воронский, пан Казимир Матусевич шепчет портному:

– Теперь поздно, теперь одна надежда, пан, – вперед!..

И вот светает, вот ветлы опять кривые пахнут алыми мокрыми листьями, такие же ветлы, как у станции Изяславль, а пан Матусевич скидывает шапку и говорит:

– Цо есть Польша, а цо есть расчет з паном! Поклонился ему также Фокин и ответил:

– Спасибо тебе, добрый человек, укажи ты мне прямо дорогу в Варшаву и вертайся с богом.

– Вернуться-то я вернусь, а як же заплатит мне пан, чи нефритом, чи золотым песком?

– Нет у меня ни нефрита, ни золота, – все деньги на билет потратил, добрый пан Казимир, а только сейчас я уразумел: ведь надо бы еще на Изяславле объяснить тебе, зачем я поехал!

А пан хотел не объяснений причин, а денег.

– Может, пан Фока какой ни на есть организации, которых в России не водится, а в Польше, может, пан Фока даст небольшую цидулку туда, чтоб уплатили?

Обиделся Фокин, когда узнал, какие большие деньги требуются пану.

– А тебе разве правда не дороже, я всю землю теперь обойду, а найду такую страну, чтоб было там статское платье и почет статским портным, а если тебе не дороже, веди меня обиженно назад, потому что заболело мое сердце без нужды.

С визгом каким-то расставил ноги пан Матусевич, забранился так, что стыдно автору, – не в состоянии он напечатать такую великолепнейшую брань, – кулаком залез в шею, а пальцы вдруг очутились в портновской сумке.

Завертелись они на шоссе, пан хочет все в скулу, а портной под ребро, и такое жилистое ребро у пана, никак не может попасть туда портной.

Здесь бежит из-за пригорка жандарм – совсем как царский, только будто за это время еще больше отжирел, сукнами оброс до невозможного блеска, усы золотые с пепельной сединой, и над усом розовая бородавка. И не бежит, а как поп венчанье совершает, – уже так он уверен, что никто от него не уйдет. За ним другой, почернее.

– Цо ест, – кричат, – настоящи контрабандисты... злото делят!..

Здесь-то и высказалось мельгешенье пана Матусевича, был вот – а вдруг и нету, только кусты шевелятся, да и то, возможно, от ветру.

А тощий да маленький остался на шоссе; черта ли в нем – они его всегда догонят, думают жандармы, главное тут – мешок!

И, не дотрагиваясь до веревочки, нюхом узнали – пустой, и опрятно, точно не людей берут, а колбасу, наиопрятнейшие пальцы протянулись к воротнику Фокина.

А у того по телу какая-то необыкновенная муть; тот как-то изловчается, золотоусому стоптанным каблуком под сердце, ёкает тот и оседает на пол. Прыгает Фокин, изумленнейше тыкается его кулак в черный напوماженный висок, и валятся двое больше от страха. В аксельбантах путаются револьверы.

Уткнулись усами в шоссе и выговорить не могут:

– Як то случилось, что выпустили самого великого контрабандиста!

Эх и легка же земля польская!

Легче птицы порхает портной Фокин по лугу, по кустам, по каким-то огородам, и стесняются лаять на такое чучело опрятные польские собаки, а на шоссе сидят двое, записывают в бумажку приметы, и приметы у них все необыкновенные, даже самим неловко, что в такое короткое время и таким конфузом нашли столько примет.

Велика только трудность объяснить свою необыкновенность, а дальше все достанется легко.

Будто скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, а вот быстрее сказки пришел портной Фокин в Варшаву.

3. Разговор Фокина у дворца гетмана Дениско в Варшаве, также и лебединый сон ксендза Винда

Вот дворец такой, что зашить его в фуляр и только на восход вынимать, пока все спят, посмотреть бы и опять уснуть: лучше сна дворец. Стоит у решетки ледащий мальчонка и торгует конфетками, будто смерть, а не конфеты продает.

– Как мне пройти, – спрашивает Фокин, – к портным всех фасонов?

И хоть по-русски запрещается говорить, и потому показывают больше пальцами, а мальчонка был торговец, – оттого, что ли, ответил он по-русски.

– Ступайте вы, дядько, прямо аж на улицу Ново-Липки, и на тех Ново-Липках от портных дышать невозможно.

– Так, – сказал Фокин, – а для чего же здесь дворец этот построен? Не для того ли, чтоб носить в нем гражданские фасоны, и кто в нем живет?

– А живет в нем, – ответил опять-таки мальчонка, – царь украинский и гетман Дениско.

– Ишь, сукин сын, и почему ж он так далеко от царства своего живет?

– А потому, что из своего царства его выгнали.

– А отчего ж он тогда царь?

– А оттого, что в Варшаве много дворцов, и кому в них жить, как не царям... А гражданских фасонов они не носят, им стыдно...

Подивился на умного мальчонку портной и пошел на улицу Ново-Липки.

А на улице Ново-Липки нашелся ему квартирный хозяин по прозванию Моисей Абрамыч, чрезвычайно любивший голубей – больше своих жил, – и любил он голубей не оттого, что был невероятно толст и все свои доходы тратил на крепчайшие стулья и была у него мечта завести железный стул, а потому, что на всем его варшавском хозяйстве было это единственное чистое пятно. И, любуясь весной на своих голубей, не обращал глаз Моисей Абрамыч на грязь своего двора, а была она такая, что жирные его детишки всё порывались плыть по ней на досках, но не осуществляли такое плаванье по причине своей тяжести.

Стоит Фокин во дворе, любитесь, и подходят к нему четверо